

Александр Куприн

# Лунной ночью



# Александр Иванович Куприн

## Лунной ночью

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=173427](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173427)*

*Олеся: Эксмо-Пресс; Москва; 2006*  
*ISBN 5-04-007984-2, 5-699-13818-8*

# Александр Куприн

## Лунной ночью

Июльская теплая ночь еще не начинала свежеть, а в воздухе уже чувствовалась близость зари. Мы с Гамовым шли в ногу, тем скорым, эластически-широким шагом, который вырабатывается после третьей версты; ни он, ни я, по обыкновению, не говорили ни слова, но я чувствовал, что мой спутник волнуется и хочет заговорить со мною.

Каждую субботу мы встречались с ним на даче у Елены Александровны и вместе оттуда возвращались пешком в Москву. На этих вечерах его присутствие почти не было заметно. Маленький, щедушный, весь обросший черными волосами, прямыми и жесткими; с короткой, чуточку рыжеватой бородой, начинающейся под самыми глазами; всегда наглухо застегнутый и всегда немного унылый, — он был самым типичным учителем математики из всех, которых я когда-либо встречал. Странно то, что даже на глаза его никто не обращал внимания, и я сам разглядел их в первый раз только в тот вечер, о котором идет речь. А между тем это были удивительные глаза: большие, черные, постоянно грустные, *точно у раненого оленя*; на женском лице они заставили бы забыть об уродливости прочих черт, некрасивость же мужского лица делала их незаметными.

На вечерах у Елены Александровны он сидел на террасе, затканной диким виноградом, в самом дальнем углу. До сих пор, когда я вижу вечером освещаемую лампой зелень с ее мертвенным, жидким цветом, я не могу не вспомнить при этом лица и понурой фигуры Гамова. Мне всегда казалось, что его душа обременена крупным невысказанным горем.

По мере того как приходило время прощаться, я начинал чувствовать на себе его просящий взгляд. Случалось, с шапкой в руках, я заговаривался еще на полчаса, совсем позабыв о Гадове. Он молча стоял рядом, не напоминая ни одним звуком о своем присутствии, и только когда я уже окончательно собирался уходить, он постоянно одним и тем же, неизменно-робким тоном предлагал себя в спутники. До сих пор мне неизвестно: пользовался ли я его особой симпатией, или просто он считал меня физически сильнее моих товарищей.

Пролесок, которым мы до сих пор шли, кончился. Перед нами открылось ровное, без одного кустика, осеребренное луною поле, сливавшееся вдаль с безоблачным куполом неба. Мы свернули с дороги на росистую траву, заглушавшую шум наших шагов, и я стал поневоле чутко прислушиваться и приглядываться к ночи. Где-то, очень далеко, всполохнулась и завозилась в кусте птичка, чирикнув, точно сквозь сон, два раза; по ветру еле-еле донеслось звонкое, тревожное ржание жеребенка. По траве низко стлались седые клочья тумана; они пропадали из глаз и окутывали нас

сыростью, когда мы подходили к ним ближе. В воздухе пахло скошенным сеном, медом и росой.

Ночью, в открытом поле, при назойливо-ярком свете луны, все чувства приобретают какую-то странную, тонкую восприимчивость. Мне мало-помалу начало сообщаться нервное настроение моего спутника; я попробовал было запеть, но сам испугался того напряженного, фальшивого звука, который издало мое горло.

Я почувствовал на своем лице, сбоку, пристальный взгляд Гамова и повернул к нему голову; он, по-видимому, дождался этого движения.

– Скажите, пожалуйста, – произнес он своим, по обыкновению, вежливым и немного робким тоном, – вы изволили слышать сегодняшние разговоры?

Разговор в этот вечер шел о привидениях, предчувствиях, таинственных дамах в белом и храбрых студентах и офицерах, – один из обыкновенных дачных разговоров.

– Конечно, все это ерунда, – продолжал Гамов, не ожидая моего ответа, – и говорилось больше для забавы. Но я заметил, что вы не принимали участия в этом разговоре, и потому, смею думать, можете отнестись серьезно к волнующему меня вопросу.

«Эге! – подумал я. – Похоже на то, что готовится излияние чувствительной души».

– Скажите мне... Впрочем, если вам смешно, вы, конечно, можете не отвечать... Бойтесь вы чего-нибудь?

Мне показалось, что он сразу побледнел, предлагая этот вопрос, и я тогда же заметил красоту и печальное выражение его глаз, казавшихся еще чернее и еще больше на лице, освещенном луною.

– Я, впрочем, не то спрашиваю. Не бояться нельзя, потому что все это от нервов. Но что для вас страшнее всего? Чего бы вы не могли забыть в продолжение всей вашей жизни?

Я по опыту знал, как взвинчивают воображение такие разговоры, и ответил с намерением сухо:

– По правде сказать, я больше всего боюсь маленьких зеленых лягушек.

– Простите, я не знал, что вам этот разговор неприятен, – сказал Гамов и понурил покорно голову.

Мне стало тотчас же жалко, что я на его учтивый и серьезный вопрос отвечал шутковством. Я начал вывертываться.

– Помилуйте, отчего же? Все равно молча идти скучно. Только я хотел сказать, что у меня нервы крепкие и своим воображением я владею настолько, что, мне кажется, сумею не поддаться никакому страху.

Когда Гамов опять заговорил ровным, глухим голосом, то я заметил странную особенность его речи. Он часто переводил дух, но забирал очень мало воздуха и как будто бы захлебывался. Поэтому фразы у него выходили короткими, отрывистыми, а конец их был еле слышен. Вероятно, это происходило от какой-нибудь грудной болезни.

– А я, голубчик, очень многого, почти всего боюсь. Ко-

гда я был еще ребенком, меня пугали буками разными, трубочистами, ну, знаете, чем вообще детей пугают. А я был мальчишка очень нервный, восприимчивый. Должно быть, страх-то на всю жизнь во мне и засел. Поверите ли, я дошел до наслаждения страхом, и когда мной овладевает припадок этой подлой робости, я стараюсь еще больше себя расстроить... Возьмите вы, например, самую невинную вещь: лунные ночи. Разве они не ужасны! Холодный свет, не то белый, не то синеватый, именно мертвый... Мертвая, одинокая луна, лишенная жизни и воздуха... мириады серебряных точек... И земля, такая же точка, песчинка, несущаяся в вечный мрак... Ужасно! Все, все мне говорит яснее, что я умру, погибну в одно прекрасное время и что моя смерть необходима для какого-то неумолимо-точного мирового закона... Ужасно!..

Он помолчал секунд десять, часто дыша, и потом продолжил:

– Вдвоем еще ничего. А вот когда один идешь, да в таком ровном поле, как теперь, вот тогда напрягаются все чувства. Смотрите, как этот фальшивый свет сгладил все неровности, точно скатерть – поле, и, кажется, конца ему нет... А я иду один и думаю, что нет кругом на целые сотни верст, кроме меня, ни одного живого существа. И откуда ни посмотри, отовсюду меня видно; захоти я спрятаться, так некуда. Но едва я это подумаю, мне уже кажется, что на меня в самом деле смотрят невидимые для меня глаза, смотрят отовсюду,

куда я только ни повернусь. И спереди, и с боков, и сзади... Всего страшнее, что сзади: так и тянет обернуться. А сердце стучит, так стучит, что и этому «невидимому», наверное, слышно, волосы на голове шевелятся... ужас, точно холод, все тело охватывает...

Последние слова он не произнес, а точно выкрикнул внезапно зазвеневшим горловым голосом. Нервная дрожь пробежала у меня по спине, но я не остановил Гамова, хотя и чувствовал, что он сейчас разойдется. Мною овладело любопытство.

– Всего же, всего страшнее для меня, – в голосе Гамова послышался оттенок таинственности, – это человек. О! Не тот человек, что преграждает вам дорогу на перекрестке и хватает вас за горло... Это очень просто: ему хочется есть и не хочется работать. Я мужчина и силу сумею отразить силой. Меня, – и голос Гамова вдруг понизился до шепота, – меня пугает то, что в каждом из нас есть одна темная, закрытая для всех наблюдений, ужасная сторона. Я должен начать издали. Вам не скучно, что я так много говорю?

– Нет, нет, пожалуйста. Мне очень интересно...

– Случалось вам видеть во сне, будто вы сдаете трудный экзамен? Вам задают вопрос, и вы на него никак не можете ответить. Вы усиленно думаете, ломаете голову, но ответ, как нарочно, не идет на ум. Тогда учитель обращается к одному из ваших товарищей, тот отвечает самым правильным и блестящим образом, и вам становится стыдно за ваше незнание.

Случалось это с вами?

– Не помню, – отвечал я, еще не понимая, к чему клонит речь Гамов. – Во всяком случае, если я этого самого не видал, то видал подобное. Я понимаю, что вы хотите выразить.

– Понимаете? Ну, и прекрасно. Дальше. Вам, наверное, приходилось когда-нибудь идти по полю и глубоко задуматься. Так задуматься, что, спроси вас, по какой местности вы шли, вы не сумели бы ответить. А между тем вы старательно переступали ямы, обходили грязные места и ни разу не упали. А? Отчего это? И много, много таких явлений... Я из них вывел одну, очень странную теорию...

Он посмотрел на небо, на слабо мерцающие звезды и помолчал.

– Я, видите ли, думаю, что человеку присущи две воли. Одна – сознательная. Этой волей я ежечасно, ежеминутно управляю своими действиями и постоянно сознаю в себе ее присутствие. Ну, одним словом, она есть то, что всякий привык понимать под именем воли. А другая воля – бессознательная; она в некоторых случаях распоряжается человеком совершенно без его ведома, иногда даже против его желания. Человек ее не понимает и не сознает в себе. Во сне на экзамене отвечает ваш товарищ. Но ведь товарища-то на самом деле нет, отвечаете вы же, и вы же удивляетесь тому, что говорите. Видите, какая двойственность? Даже теперь вот, в настоящую секунду: вы идете, переставляете ноги, махаете руками. Но ведь вы о ваших руках и ногах даже и думать по-

забыли, потому что заняты разговором. Кто же ими двигает, если не эта вторая, бессознательная воля? А гипнотизм, когда один субъект, против желания, подчиняется приказаниям другого? И много, много... Понимаете вы хоть немного мою мысль?

Глядя на меня своими грустными большими глазами, он как будто бы извинялся за этот странный разговор.

– Понимаю отчасти, – отвечал я неопределенно.

– Так вот этой самой таинственной области в человеке я и боюсь, – продолжал Гамов, опять понижая свой голос до шепота. – Раз эта вторая воля есть, есть и физический орган, который наряду со всеми прочими органами подвержен болезням. Только человек ничего об этой воле не знает и болезни своей не чувствует: в этом самое страшное. Лунатики, сумасшедшие, преступники с наследственными влечениями, бесноватые, одержимые противоестественными похотями, эпилептики – все это несчастные, у которых так дико, так неожиданно, так ужасно проявляются их болезни, все они страдают одним и тем же: расстройством их второй воли. Главное – неожиданно и совершенно непонятно. Я боюсь самого себя, боюсь вас, боюсь всякого... Ну вот, например, мы с вами идем, а я вдруг останавливаюсь, беру вас за рукав (Гамов действительно дотронулся до моего рукава, отчего по моему телу пробежала какая-то брезгливая дрожь) и ни с того ни с сего, молча, делаю страшную, отвратительную гримасу?.. Разве это не страшно? Особенно ночью, в поле,

один на один?

Я с болезненным любопытством поглядел в лицо Гамову. Я почувствовал, что, сделай он в самом деле сейчас гримасу, – я с ужасом, но в ту же секунду повторил бы ее на своем лице. От одной этой мысли мне стало холодно, но, к счастью, гримасы Гамов не сделал.

Мы подходили к тому месту, где дорога разветвлялась на две: одна вела в Москву, а другая – в один из загородных парков. На перекрестке росли две корявые березы.

– Есть у вас папиросы? – спросил Гамов. – У меня все вышли.

Мы остановились на перекрестке, и он стал закуривать. Закуривал он торопливо, и я подумал, что ему пришла в голову еще какая-то мысль. Действительно, затянувшись поспешно несколько раз подряд, он опять заговорил:

– Известен вам тот странный факт, что убийцу влечет к месту преступления? Это, конечно, давно избито и заезжено, но зато еще раз подтверждает мою, вероятно, нелепую теорию. Вы подумайте только: ведь сознательно убийца ни за что не пошел бы. Это и неблагоприятно, и мучительно, и, наконец, совсем не нужно. Однако он идет, идет и идет, и потом ни за что не скажет, почему пришел... Ну, что вы на это скажете?

Я не знал, чем ответить, кроме неопределенного мычания; мне становилось неловко. Когда Гамов снова торопливо затянулся несколько раз подряд – его лицо, то освещае-

мое огнем папиросы, с длинными тенями от носа и бровей, то опять тонувшее в темноте, показалось мне страшным. К сожалению, я не мог теперь его остановить, потому что чувствовал себя не в силах сделать это.

Предраассветный легкий ветерок тронул листья в верхушке березы, под которой мы стояли, и они затрепетали с тревожным шумом. Гамов с силою швырнул недокуренную папиросу об землю и кинул на меня беспокойный взгляд.

– Да вот, например, что. Вообразите, что вы идете не со мной, а с кем-нибудь другим, при совершенно таких же обстоятельствах и после такого же разговора, какой был у нас с вами. Точно так же, как и сейчас, вы останавливаетесь под этими самыми березами... И вдруг ваш спутник, обыкновенно молчаливый и робкий на вид, начинает рассказывать, как он два года тому назад на этом, на вот этом самом месте... – Гамов показал пальцем перед собой; голос его ослабевал и обрывался, – убил женщину... И, главное, вы видите, что он не шутит, потому что сообщает такие мелочные, такие тонкие и своеобразные подробности, каких ни один психологический писатель не придумает... Ну, хоть вот так...

Гамов задумывается, как будто бы что-то припоминая. Давешний ужас опять прополз у меня по спине своими мохнатыми лапами...

– Я все это очень умно устроил (я говорю от имени этого вашего знакомого). Представьте себе: ни отец, ни мать не знали, что она со мной знакома. О! Даже больше: она меня

ненавидела, питала ко мне отвращение, как к гадине, но я все-таки сумел овладеть ее волей и воображением до невероятной степени. Если я в полдень проходил мимо ее окна, она уж непременно выходила перед вечером на Тверской бульвар. Это условный знак у нас был такой (видите, какая мелкая подробность). Покорность такая была оттого, что я случайно проник в ее тайну, очень простую тайну: эта девушка имела ребенка. У меня в руках находились вещественные доказательства, а девушка эта была единственным утешением нежных родителей, да, кроме того, сюда и патрицианская гордость примешивалась. Да, черт! Много было подробностей. (Заметьте, все это вам говорит ваш предполагаемый знакомый.) И все это я сумел одеть некоторым туманным покровом таинственности... Шантаж, вы хотите сказать? Вот именно, именно шантаж; самое подходящее слово, хотя все это делалось не из-за выгоды материальной, а потому что ваш знакомый девушку любил, как сорок тысяч... и так далее... Таким образом, я ей приказал однажды летом прийти на определенное место; мы взяли извозчика и поехали за город на дачу. Дача-то, конечно, была пустым предлогом: мы там никого не застали. Пришлось возвращаться назад пешком, вот как теперь мы с вами. Даже ночь была такая же лунная, теплая и душистая... Только теперь, – Гамов вынул из кармана часы и посмотрел на них, близко поднеся к глазам, – пять минут четвертого, а тогда мы подошли к перекрестку не позже как в половине второго...

Понимаете? Я ее любил! Она была изумительно хороша, изумительно! Что-то в ней было страстное, непокорное и очень сильное: как женщина, она обещала бездну наслаждения. Она была выше меня ростом, гибкая, с высокой талией и маленьким бюстом, точно у классической богини, с сильными маленькими руками. Ее пышная натура особенно сказывалась в волосах. Эти золотые, нежные волосы, местами цвета спелого ореха, просто мешали ей. Они не слушались прически и лезли ей на глаза; у нее была милая, грациозная привычка откидывать их назад быстрым движением головы. Это была необыкновенная женщина!

Вы не испытывали никогда этого захватывающего дух сладострастия, когда сознаешь, что любимая тобой женщина, которая тебя презирает, находится в твоих руках и ты ее можешь взять силой? Верно, не испытывали? А у меня в кармане был американский револьвер Мервинга, и каждый раз, опуская руку в правый карман пальто и ощущая холод металлического дула, я думал, что если здесь выстрелить, то ни одна душа не услышит. И каждый раз мне хотелось потянуться от какого-то чертовски сладкого предчувствия... Здесь ваш знакомый кстати сообщит вам еще одну деталь: револьвер он взял из того расчета, что от него, во всяком случае, меньше крови...

Боже мой! Какое это наслаждение! Говорить ей о любви, грозить убить ее, вымогать у нее ласки с револьвером у виска! Ах, это необъяснимое сладострастие... Но знаете... – Га-

мов вдруг остановился и хрипло, растянуто засмеялся; я не мог пошевелинуться, – все это, конечно, к примеру... Знаете, что она сделала, когда я вот на этом месте, где мы теперь стоим с вами, приставил к ее виску револьвер и грубо, ну так грубо, как разве может только пьяный солдат, потребовал, чтобы она мне отдалась? Знаете, что она сделала? Она расхохоталась и назвала меня трусом, неспособным даже на такую подлость. И не то что расхохоталась искусственно, а на самом деле, громко, презрительно так... О, как она была великолепна в эту минуту и как я сознавал свою собственную мерзость... Но мне было все равно... Я сказал, что сию секунду выстрелю; она не шевельнулась ни одним мускулом и все продолжала смеяться. Глаза у нее стали большие и дерзкие... Я едва надавил собачку... у меня пальцы обессилели и затерпли губы... Мысль работала страшно сильно. Я все испытывал себя: могу или не могу? Мне как будто бы интересно было: сильно нужно нажать, чтобы выстрелить? Я жал потихоньку, а со стороны точно сам за собою наблюдал... И вдруг ее лицо вспыхнуло... По долине грохот какой-то дробный прокатился. Я сначала ничего не понимал... И какая подробность чудовищная мне в память успела врезаться: когда ее лицо осветилось, я еще успел на нем разглядеть улыбку!..

Когда я к ней нагнулся, ее висок и часть лба были в крови. Кровь была лужей и на земле, а на ее поверхности какие-то беловатые жирные струйки... Не знаю, может быть, мне это и показалось. Одна прядь ее золотых волос прилипла к ране.

Эта подробность у меня несколько месяцев не выходила из головы: все хотелось взять и отвести эту прядь осторожненько назад... Смерть гадка, страшна и таинственна... Но стоять возле... созерцать, как молодая, красивейшая женщина, за минуту перед тем смеявшаяся, становится холодной вещью!.. И когда я сам, сам, своими руками произвел это таинственное явление!.. Ужасно!!!

Гамов задыхался. Последние слова он произнес еле слышно, точно в раздумье или в бреду, и закрыл лицо руками. Когда же он отнял руки, то я увидел, что его лицо искажено кривой, измученной улыбкой.

– Ну-с! А знаете, что всего страшнее, мой молодой друг? Всего страшнее то, что я знаю ваши теперешние мысли. Вы думаете, что вся эта история произошла не с вашим выдуманном другом, а с самим Гамовым. А убийцу-то вот и потянуло на самом месте преступления рассказать все первому встречному под видом аллегии, так сказать, заглянуть в пропасть? Ну что, правда? Правда?

Когда он это сказал, я в тот же миг с поразительной ясностью понял ту мысль, которая меня давно уже угнетала и которую я боялся представить себе отчетливее.

Наши глаза встретились и не могли оторваться; наши лица сошлись страшно близко. Ужас нечеловеческий – чудовищный ужас сковал мое тело, сжал ледяной рукой мое горло, сдвинул к затылку кожу на моем черепе. Продлись это состояние еще секунды три – произошло бы что-нибудь нелепое.

Может быть, я бросился бы бежать и бежал бы до изнеможения, трясясь и падая. Может быть, мы оба с криком кинулись бы друг на друга, как два диких зверя...

Вдали по дороге послышался стук колес. И я и Гамов одновременно вздохнули всей грудью, точно пробудясь от страшного сна, и отвели глаза.

– Ну, я не знал, что вы такой нервный, – заметил было шутливо Гамов, но я не отвечал ему.

Во всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова и разошлись, не подав друг другу руки.

А на востоке уже пылали багряные, желтые и розовые тона. Сизая тяжелая туча одна напоминала об уходящей ночи, но и она кое-где была прорезана тонкими, длинными полосками червонного золота, и края ее играли нежными переливами розового перламутра.

Гамов перестал бывать у Елены Александровны, а я хоть и бывал, но возвращался с ее дачи в Москву другой дорогой.